# ЛЕВ ТОЛСТОЙ

# ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 5

**Лев Николаевич Толстой**

# Полное собрание сочинений. Том 5. Произведения 1856–1859 гг. Из записок князя Д. Нехлюдова

Серия «Весь Толстой в один клик»

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6744907*

# Содержание

Лев Николаевич 4
Предисловие к электронному изданию 6
ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА. 9
Комментарии В. Ф. Саводника 46
ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА. (ЛЮЦЕРН.) 46
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ. 66
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПЯТОМУ ТОМУ. 68
Иллюстрации 72

# Лев Николаевич Толстой
# Из записок князя Д. Нехлюдова
# Люцерн
# (1857 г.)

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва – 1935

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта «Весь Толстой в один клик»
Организаторы: Государственный музей Л. Н. Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 5-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной Российской государственной библиотекой

Предисловие и редакционные пояснения к 5-му тому Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать в

настоящем издании

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

*Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам* report@tolstoy.ru

# Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в

электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»*
*Фекла Толстая*

*Перепечатка разрешается безвозмездно .*
–
*Reproduction libre pour tous les pays.*

Л. Н. ТОЛСТОЙ

1860 г.

*Размер подлинника*

# ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА. ЛЮЦЕРН.

*8 июля.*

Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостиннице, Швейцергофе.

«Люцерн, старинный кантональный город, лежащий на берегу озера четырех кантонов, – говорит Murray, – одно из самых романтических местоположений Швейцарии; в нем скрещиваются три главные дороги; и только на час езды на пароходе находится гора Риги, с которой открывается один из самых великолепных видов в мире».

Справедливо или нет, другие *гиды* говорят то же, и потому путешественников всех наций, и в особенности англичан, в Люцерне – бездна.

Великолепный, пятиэтажный дом Швейцергофа построен недавно на набережной, над самым озером, на том самом месте, где в старину был деревянный, крытый, извилистый мост, с часовнями на углах и образами на стропилах. Теперь, благодаря огромному наезду англичан, их потребностям, их вкусу и их деньгам, старый мост сломали и на его месте сделали цокольную, прямую, как палка, набережную; на набережной построили прямые четвероугольные пя-

тиэтажные дома; а перед домами в два ряда посадили липки, поставили подпорки, а между липками, как водится, зеленые лавочки. Это – гулянье; и тут взад и вперед ходят англичанки в швейцарских соломенных шляпах и англичане в прочных и удобных одеждах и радуются своему произведению. Может быть, что эти набережные и дома, и липки, и англичане – очень хороши где-нибудь, но только не здесь, среди этой странно величавой и вместе с тем невыразимо гармонической и мягкой природы.

Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное.

Был седьмой час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось. Голубое, как горящая сера, озеро, с точками лодок и их пропадающими следами, неподвижно, гладко, как будто выпукло расстилалось перед окнами между разнообразными зелеными берегами, уходило вперед, сжимаясь между двумя громадными уступами, и, темнея, упиралось и исчезало в нагроможденных друг на друге долинах, горах, облаках и льдинах. На первом плане мокрые светло-зеленые разбегающиеся берега с тростником, лугами, садами и да-

чами; далее темно-зеленые поросшие уступы с развалинами замков; на дне скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело-матовыми снеговыми вершинами; и всё залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещенное прорвавшимися с разорванного неба жаркими лучами заката. Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. И тут, среди неопределенной, запутанной свободной красоты, перед самым моим окном, глупо, фокусно торчала белая палка набережной, липки с подпорками и зеленые лавочки, – бедные, пошлые людские произведения, не утонувшие так, как дальние дачи и развалины, в общей гармонии красоты, а, напротив, грубо противоречащие ей. Беспрестанно, невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно. Я выучился смотреть так и до обеда один сам с собою наслаждался тем неполным, но тем слаще томительным чувством, которое испытываешь при одиноком созерцании красоты природы.

В половине восьмого меня позвали обедать. В большой

великолепно убранной комнате, в нижнем этаже, были накрыты два длинные стола, по крайней мере, человек на сто. Минуты три продолжалось молчаливое движение сбора гостей: шуршанье женских платьев, легкие шаги, тихие переговоры с учтивейшими и изящнейшими кельнерами; и все приборы были заняты мужчинами и дамами, весьма красиво, даже богато и вообще необыкновенно чистоплотно одетыми. Как вообще в Швейцарии, большая часть гостей – англичане, и потому главные черты общего стола – строгое, законом признанное приличие, несообщительность, основанные не на гордости, но на отсутствии потребности сближения, и одинокое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей. Со всех сторон блестят белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки. Но лица, из которых многие очень красивы, выражают только сознание собственного благосостояния и совершенное отсутствие внимания ко всему окружающему, чтó не прямо относится к собственной особе, и белейшие руки с перстнями и в митенях движутся только для поправления воротничков, разрезывания говядины и наливания вина в стаканы: никакое душевное волнение не отражается в их движениях. Семейства изредка тихим голосом перекидываются словами о приятном вкусе такого-то кушанья или вина и красивом виде с горы Риги. Одинокие путешественники и путешественницы одиноко, молча, сидят рядом, даже не глядя друг на друга. Если изредка

из этих ста человек два разговаривают между собою, то наверно о погоде и восхождении на гору Риги. Ножи и вилки чуть слышно двигаются по тарелкам, кушаньев берется понемногу, горошек и овощи едятся непременно вилкой; кельнеры, невольно подчиняясь общей молчаливости, шопотом спрашивают о том, какого вина прикажете? На таких обедах мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне всё кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «отдохни, мой любезный!» в то время как в жилах бьется молодая кровь и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства задавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно; все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями; но, кроме фраз, которые очевидно повторялись в стотысячный раз на том же месте и в стотысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди не глупые же и не бесчувственные, а наверное у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг другом, наслаждения человеком?

То ли дело бывало в нашем парижском пансионе, где мы,

двадцать человек самых разнообразных наций, профессий и характеров, под влиянием французской общительности, сходились к общему столу, как на забаву. Там сейчас же, с одного конца стола на другой, разговор, пересыпанный шуточками и каламбурами, хотя часто и на ломаном языке, становился общим. Там всякий, не заботясь о том, как выйдет, болтал, что приходило в голову; там у нас были свой философ, свой спорщик, свой bel esprit,[1] свой пластрон, всё было общее. Там, тотчас после обеда, мы отодвигали стол и в такт ли, не в такт ли принимались по пыльному ковру танцовать la polka[2] до самого вечера. Там мы были хоть и кокетливые, не очень умные и почтенные люди, но мы были люди. И испанская графиня с романическими приключениями, и итальянский аббат, декламировавший Божественную Комедию после обеда, и американский доктор, имевший вход в Тюльери, и юный драматург с длинными волосами, и пьяниста, сочинившая, по собственным словам, лучшую польку в мире, и несчастная красавица-вдова с тремя перстнями на каждом пальце, – мы все по-человечески, хотя поверхностно, но приязненно относились друг к другу и унесли друг от друга кто легкие, а кто искренние сердечные воспоминания. За английскими же table d'hôt'ами[3] я часто думаю, глядя на все эти кружева, ленты, перстни, помаженные волосы и шел-

---

[1] [остроумец,]

[2] [польку]

[3] [общими обедами]

ковые платья, сколько бы живых женщин были счастливы и сделали бы других счастливыми этими нарядами. Странно подумать, сколько тут друзей и любовников, самых счастливых друзей и любовников, сидят рядом, может быть, не зная этого. И Бог знает, отчего, никогда не узнают этого и никогда не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется.

Мне сделалось грустно, как всегда после таких обедов, и, не доев десерта, в самом невеселом расположении духа я пошел шляться по городу. Узенькие, грязные улицы без освещения, запираемые лавки, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой, или в шляпках, по стенам, оглядываясь, шмыгающими по переулкам, не только не разогнали, но еще усилили мое грустное расположение духа. В улицах ужъ было совсем темно, когда я, не оглядываясь кругом себя, без всякой мысли в голове, пошел к дому, надеясь сном избавиться от мрачного настроения духа. Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжко, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место.

Я, глядя только себе под ноги, шел по набережной к Швейцергофу, как вдруг меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живительно подействовали на меня. Как будто яркий веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружа-

ющие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг, как новость, отрадно поразили меня. Я невольно в одно мгновение успел заметить и пасмурное, серыми кусками на темной синеве, небо, освещенное поднимающимся месяцем, и темно-зеленое гладкое озеро с отражающимися в нем огоньками, и вдали мглистые горы, и крики лягушек из Фрёшенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо же передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно было устремлено мое внимание, я увидал в полумраке на средине улицы полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии, крошечного человека в черной одежде. Сзади толпы и человечка, на темном сером и синем разорванном небе, стройно отделялось несколько черных раин сада и величаво возвышались по обеим сторонам старинного собора два строгие шпица башен.

Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разбирал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а кое-где, выпевая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то в роде милой и грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные сла-

бые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодия и эта одинокая фигурка черного человечка среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен и черных раин сада, всё было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким.

Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? сказалось мне невольно, вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Всё твое, всё благо…

Я подошел ближе. Маленький человечек был, как казалось, странствующий тиролец. Он стоял перед окнами гостинницы, выставив ножку, закинув кверху голову, и, бренча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человеку и благодарность за тот переворот, который он произвел во мне. Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волоса у него были черные, короткие и на голове была самая мещанская простая старенькая фуражка. В

одежде его ничего не было артистического, но лихая, детски веселая поза и движения, с его крошечным ростом составляли трогательное и вместе забавное зрелище. В подъезде, окнах и балконах великолепно освещенной гостинницы стояли блестящие нарядами, широкоюбные барыни, господа с белейшими воротниками. Швейцар и лакей в золотошитых ливреях, на улице, в полукруге толпы и дальше по бульвару, между липками, собрались и остановились изящно одетые кельнеры, повара в белейших колпаках и куртках, обнявшиеся девицы и гуляющие. Все, казалось, испытывали то же самое чувство, которое испытывал и я. Все молча стояли вокруг певца и внимательно слушали. Всё было тихо, только в промежутках песни, где-то вдалеке, равномерно по воде, долетал звук молота, и из Фрёшенбурга рассыпчатой трелью неслись голоса лягушек, перебиваемые влажным, однозвучным свистом перепелов.

Маленький человечек в темноте среди улицы заливался, как соловей, куплет за куплетом и песня за песней. Не смотря на то, что я подошел вплоть к нему, его пенье продолжало доставлять мне большое удовольствие. Небольшой голос его был чрезвычайно приятен, нежность же, вкус и чувство меры, с которыми он владел этим голосом, были необыкновенны и показывали в нем огромное природное дарованье. Припев каждого куплета он всякий раз пел различно, и видно было, что все эти грациозные изменения свободно, мгновенно приходили ему.

В толпе, и наверху в Швейцергофе, и внизу на бульваре слышался часто одобрительный шопот и царствовало почтительное молчание. На балконах и в окнах всё более и более прибавлялось нарядных, живописно в свете огней дома облокотившихся мужчин и женщин. Гуляющие останавливались, и в тени на набережной повсюду кучками около липок стояли мужчины и женщины. Около меня, куря сигары, стояли, несколько отделившись от всей толпы, аристократические лакей и повар. Повар сильно чувствовал прелесть музыки и при каждой высокой фистульной ноте восторженно недоумевающе подмигивал всей головой лакею и толкал его локтем с выражением, говорившим: каково поет, а? Лакей, по распустившейся улыбке которого я замечал всё им испытываемое удовольствие, на толчки повара отвечал пожиманием плеч, показывавшим, что его удивить довольно трудно и что он слыхал многое получше этого.

В промежутке песни, когда певец прокашливался, я спросил у лакея, кто он такой и часто ли сюда приходит.

– Да в лето раза два приходит, – отвечал лакей, – он из Арговии. Так, нищенствует.

– А что, много их таких ходит? – спросил я.

– Да, да, – отвечал лакей, не поняв сразу того, о чем я спрашивал, но, разобрав ужъ потом мой вопрос, прибавил: – о нет! Здесь я только одного его видаю. Больше нету.

В это время маленький человечек кончил первую песню, бойко перевернул гитару и сказал что-то про себя на своем

немецком patois,[4] чего я не мог понять, но что произвело хохот в окружающей толпе.

– Что это он говорит? – спросил я.

– Говорит, что горло пересохло, выпил бы вина, – перевел мне лакей, стоявший подле меня.

– А что, он верно любит пить?

– Да эти все люди такие, – отвечал лакей, улыбнувшись и махнув на него рукою.

Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к господам, стоявшим у окон и на балконах: «Messieurs et mesdames, – сказал он полуитальянским, полунемецким акцентом и с теми интонациями, с которыми фокусники обращаются к публике, – si vous croyez que je gagne quelque chosse, vous vous trompez; je ne suis qu'un bauvre tiaple».[5] Он остановился, помолчал немного; но так как никто ему ничего не дал, он снова вскинул гитару и сказал: «A présent, messieurs et mesdames, je vous chanterai l'air du Righi».[6] Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании следующей песни, внизу в толпе засмеялись, должно быть, тому, что он так странно выражался, и тому, что ему ничего не дали. Я дал ему несколько сантимов, он ловко перекинул их из руки в руку, засунул в

---

[4] [местное, провинциальное наречие,]

[5] [«Милостивые государи и государыни, ежели вы думаете, что я что-нибудь зарабатываю, то вы ошибаетесь; я бедный малый».]

[6] [«Теперь, милостивые государи и государыни, я спою вам песенку Риги».]

карман жилета и, надев фуражку, снова начал петь грациозную милую тирольскую песенку, которую он называл l'air du Righi. Эта песня, которую он оставлял для заключения, была еще лучше всех прежних, и со всех сторон в увеличившейся толпе слышались звуки одобрения. Он кончил. Снова он размахнул гитарой, сиял фуражку, выставил ее вперед себя, на два шага приблизился к окнам и снова сказал свою непонятную фразу: «Messieurs et mesdames, si vous croyez que je gagne quelque chosse», которую он, видно, считал очень ловкой и остроумной, но в голосе и движениях его я заметил теперь некоторую нерешительность и детскую робость, которые были особенно поразительны с его маленьким ростом. Элегантная публика всё так же живописно в свете огней стояла на балконах и в окнах, блестя богатыми одеждами; некоторые умеренно-приличным голосом разговаривали между собой, очевидно, про певца, который с вытянутой рукой стоял перед ними, другие внимательно, с любопытством смотрели вниз на эту маленькую черную фигурку, на одном балконе послышался звучный и веселый смех молодой девушки. В толпе внизу громче и громче слышался говор и посмеиванье. Певец в третий раз повторил свою фразу, но еще слабейшим голосом, и даже не докончил ее, и снова вытянул руку с фуражкой, но тотчас же и опустил ее. И во второй раз из этих сотни блестяще-одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему *копейки*. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось,

сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: «Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit»,[7] и надел фуражку. Толпа загоготала от радостного смеха. С балконов стали понемногу скрываться красивые мужчины и дамы, спокойно разговаривая между собою. На бульваре снова возобновилось гулянье. Молчаливая во время пения, улица снова оживилась, несколько человек только, не подходя к нему, смотрели издалека на певца и смеялись. Я слышал, как маленький человек что-то проговорил себе под нос, повернулся и, как будто сделавшись еще меньше, скорыми шагами пошел к городу. Веселые гуляки, смотревшие на него, всё так же в некотором расстоянии следовали за ним и смеялись…

Я совсем растерялся, не понимал, что это всё значит и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в темноту на удалявшегося крошечного человека, который, растягивая большие шаги, быстро шел к городу, и на смеющихся гуляк, которые следовали за ним. Мне сделалось больно, горько и главное стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто бы я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись. Я, тоже не оглядываясь, с защемленным сердцем, скорыми шагами пошел к себе домой на крыльцо Швейцергофа. Я не отдавал себе еще отчета в том, чтó испытывал; только что-то тяжелое, неразрешившееся, наполняло мне ду-

---

[7] [«Милостивые государи и государыни, благодарю вас и желаю вам спокойной ночи».]

шу и давило меня.

На великолепном, освещенном подъезде мне встретился учтиво сторонившийся швейцар и английское семейство. Плотный, красивый и высокий мужчина с черными английскими бакенбардами, в черной шляпе и с пледом на руке, в которой он держал богатую трость, лениво, самоуверенно шел под руку с дамой, в диком шелковом платье, в чепце с блестящими лентами и прелестнейших кружевах. Рядом с ними шла хорошенькая, свеженькая барышня, в грациозной швейцарской шляпе с пером, à la mousquetaire, из-под которой вокруг ее беленького личика падали мягкие, длинные, светло-русые букли. Впереди подпрыгивала десятилетняя румяная девочка, с полными, белыми коленками, видневшимися из-под тончайших кружев.

– Прелестная ночь, – сказала дама сладким, счастливым голосом, в то время как я проходил.

– Ohe! – промычал лениво англичанин, которому, видимо, было так хорошо жить на свете, что и говорить не хотелось. И всем им, казалось, так было спокойно, удобно, чисто и легко жить на свете, такое в их движениях и лицах выражалось равнодушие ко всякой чужой жизни, и такая уверенность в том, что швейцар им посторонится и поклонится, и что, воротясь, они найдут чистую, покойную постель и комнаты, и что всё это должно быть, и что на всё это имеют полное право, – что я вдруг невольно противопоставил им странствующего певца, который, усталый, может быть, го-

лодный, с стыдом убегал теперь от смеющейся толпы, – понял, что́ таким тяжелым камнем давило мне сердце, и почувствовал невыразимую злобу на этих людей. Я два раза прошел туда и назад мимо англичанина, с невыразимым наслаждением оба раза, не сторонись ему, толкнул его локтем и, спустившись с подъезда, побежал в темноте по направлению к городу, куда скрылся маленький человек.

Догнав трех человек, шедших вместе, я спросил у них, где певец; они, смеясь, указали мне его впереди. Он шел один, скорыми шагами, никто не приближался к нему, он всё что-то, как мне показалось, сердито бормотал себе под нос. Я поровнялся с ним и предложил ему пойти куда-нибудь вместе выпить бутылку вина. Он шел всё так же скоро и недовольно оглянулся на меня; но, разобрав в чем дело, остановился.

– Что жь, я не откажусь, ежели вы так добры, – сказал он. – Вот тут есть маленький кафе, туда зайти можно – простенькое, – прибавил он, указывая на распивную лавочку, которая была еще отворена.

Его слово: простенькое, невольно навело меня на мысль не итти в простенькое кафе, а итти в Швейцергоф, туда, где были те, которые слушали его. Несмотря на то, что он с робким волнением несколько раз отказывался от Швейцергофа, говоря, что там слишком парадно, я настоял на своем, и он, притворяясь уже, что нисколько не смущен, весело размахивая гитарой, пошел со мной назад по набережной. Несколько праздных гуляк, как только я подошел к певцу, пододвину-

лись, прислушались к тому, что я говорил, и теперь, рассуждая между собой, пошли за нами до самого подъезда, ожидая верно от тирольца еще какого-нибудь представления.

Я спросил бутылку вина у кельнера, который встретился мне в сенях. Кельнер, улыбаясь, посмотрел на нас и, ничего не ответив, пробежал мимо. Старший кельнер, к которому я обратился с той же просьбой, серьезно выслушал меня и, оглядев с ног до головы робкую, маленькую фигуру певца, строго сказал швейцару, чтоб нас провели в залу налево. Зала налево была распивная комната для простого народа. В углу этой комнаты горбатая служанка мыла посуду, и вся мебель состояла в деревянных голых столах и лавках. Кельнер, который пришел служить нам, поглядывая на нас с кроткой насмешливой улыбкой и засунув руки в карманы, переговаривался о чем-то с горбатой судомойкой. Он видимо старался дать нам заметить, что, чувствуя себя по общественному положению и достоинствам неизмеримо выше певца, ему не только не обидно, но истинно забавно служить нам.

– Простого вина прикажете? – сказал он с знающим видом, подмигивая мне на моего собеседника и из руки в руку перекидывая салфетку.

– Шампанского и самого лучшего, – сказал я, стараясь принять самый гордый и величественный вид. Но ни шампанское, ни мой будто бы гордый и величественный вид не подействовали на лакея; он усмехнулся, постоял немножко, глядя на нас, не торопясь посмотрел на золотые часы и ти-

хими шагами, как бы прогуливаясь, вышел из комнаты. Скоро он возвратился с вином и еще двумя лакеями. Два из них сели около судомойки и с веселою внимательностью и кроткой улыбкой на лицах любовались на нас, как любуются родители на милых детей, когда они мило играют. Одна только горбатая судомойка, казалось, не насмешливо, а с участием смотрела на нас. Хотя мне было и очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело сколь возможно независимо. При огне я его рассмотрел лучше. Это был крошечный, пропорционально сложенный, жилистый человек, почти карлик, с щетинистыми черными волосами, всегда плачущими большими черными глазами, лишенными ресниц, и чрезвычайно приятным, умильно сложенным ротиком. У него были маленькие бакенбарды, волоса были недлинны, одежда была самая простая и бедная. Он был нечист, оборван, загорел и вообще имел вид трудового человека. Он скорей был похож на бедного торговца, чем на артиста. Только в постоянно влажных, блестящих глазах и собранном ротике было что-то оригинальное и трогательное. На вид ему можно было дать от двадцати-пяти до сорока лет; действительно же ему было тридцать восемь.

Вот что́ он с добродушной готовностью и очевидной искренностью рассказал про свою жизнь. Он из Арговии. В детстве еще он потерял отца и мать, других родных у него нет. Состояния он никогда не имел никакого. Он обучался

столярному мастерству, но двадцать два года тому назад у него сделался костоед в руке, лишивший его возможности работать. Он с детства имел охоту к пенью и стал петь. Иностранцы давали ему изредка деньги. Он сделал из этого профессию, купил гитару, и вот восьмнадцатый год странствует по Швейцарии и Италии, распевая перед гостинницами. Весь его багаж – гитара и кошелек, в котором у него теперь было только полтора франка, которые он должен проспать и проесть нынче же вечером. Он каждый год, ужь восьмнадцать раз, проходит все лучшие, наиболее посещаемые места Швейцарии: Цюрих, Люцерн, Интерлакен, Шамуни и т. д.; через St.-Bernard проходит в Италию и возвращается через St.-Gotard или через Савойю. Теперь ему тяжело становится ходить, потому что от простуды он чувствует, что боль в ногах, которую он называет глидерзухт, с каждым годом усиливается, и что глаза и голос его становятся слабее. Несмотря на это, он теперь отправляется в Интерлакен, Aix-les-Bains и, через малый St.-Bernard, в Италию, которую он особенно любит; вообще, как кажется, он очень доволен своей жизнью. Когда я спросил у него, зачем он возвращается домой, есть ли у него там родные или дом и земля, ротик его, как будто на сборках, собрался в веселую улыбочку, и он отвечал мне:

– Oui, le sucre est bon, il est doux pour les enfants![8] – и подмигнул на лакеев.

Я ничего не понял, но в лакейской группе засмеялись.

---

[8] [Да, сахар хорош, он приятен для детей!]

– Ничего нет, а то разве я бы стал ходить так, – объяснил он мне, – а прихожу домой, потому что всё-таки как-то тянет к себе на родину.

И он еще раз с хитро-самодовольной улыбкой повторил фразу: «oui, le sucre est bon», и добродушно рассмеялся. Лакеи очень были довольны и хохотали, одна горбатая судомойка большими, добрыми глазами серьезно смотрела на маленького человечка и подняла ему шапку, которую он, во время разговора, уронил с лавки. Я замечал, что странствующие певцы, акробаты, даже фокусники любят называть себя артистами, и потому несколько раз намекал своему собеседнику на то, что он артист, но он вовсе не признавал за собой этого качества, а весьма просто, как на средство к жизни, смотрел на свое дело. Когда я спросил его, не сам ли он сочиняет песни, которые поет, он удивился такому странному вопросу и отвечал, что куда ему, это всё старинные тирольские песни.

– А как же песня Риги, я думаю, не старинная? – сказал я.

– Да, это лет пятнадцать тому назад сочинена. Был один немец в Базеле, умнейший был человек, это он сочинил ее. Отличная песня! Это, видите, он для путешественников сочинил.

И он начал мне, переводя по-французски, рассказывать слова песни Риги, которая видно ему очень нравилась:

Коли хочешь итти на Риги,

До Вегиса не нужно башмаков
(Потому что на пароходе едут),
А от Вегиса возьми большую палку,
Да еще под руку возьми девицу,
Да зайди выпить стаканчик вина.
Только пей не слишком много,
Потому что тот, кто хочет пить,
Должен заслужить прежде…

– О, отличная песня! – заключил он.

Лакеи находили, вероятно, эту песню весьма хорошей, потому что приблизились к нам.

– Ну, а музыку кто же сочинял? – спросил я.

– Да никто, это так, знаете, чтобы петь для иностранцев, надо что-нибудь новенькое.

Когда нам принесли льду, и я налил моему собеседнику стакан шампанского, ему, видимо, стало неловко, и он, оглядываясь на лакеев, поворачивался на своей лавке. Мы чокнулись за здоровье артистов; он отпил полстакана и нашел нужным задуматься и глубокомысленно повести бровями.

– Давно я не пил такого вина, je ne vous dis que ça.[9] В Италии вино d'Asti хорошо, но это еще лучше. Ах, Италия! славно там быть! – прибавил он.

– Да, там умеют ценить музыку и артистов, – сказал я, желая навести его на вечернюю неудачу перед Швейцергофом.

– Нет, – отвечал он, – там насчет музыки я никому не могу

[9] [я только это скажу вам.]

удовольствия доставить. Итальянцы сами музыканты, каких нет на всем свете; но я только насчет тирольских песен. Это им всё-таки новость.

– Что жь, там щедрее господа? – продолжал я, желая его заставить разделить мою злобу на обитателей Швейцергофа. – Там не случится так, как здесь, чтобы из огромного отеля, где богачи живут, сто человек бы слушали артиста и ничего бы ему не дали…

Мой вопрос подействовал совсем не так, как я ожидал. Он и не думал негодовать на них; напротив, в моем замечании он видел упрек своему таланту, который не вызвал награды, и старался оправдаться передо мной.

– Не всякий раз много получишь, – отвечал он. – Иногда и голос пропадет, устанешь, ведь я нынче девять часов прошел и пел целый день почти. Оно трудно. А важные господа аристократы, им иногда и не хочется слушать тирольские песни.

– Всё-таки, как же ничего не дать? – повторил я.

Он не понял моего замечания.

– Не то, – сказал он: – а здесь главное on est très serré pour la police,[10] вот что. Здесь по этим республиканским законам вам не позволяют петь, а в Италии вы можете ходить сколько хотите, никто вам слова не скажет. Здесь ежели захотят вам позволить, то позволят, а не захотят, то вас в тюрьму посадить могут.

– Как, неужели?

---

[10] [много притеснений со стороны полиции,]

– Да. Ежели вам раз заметят, а вы будете еще петь, вас могут в тюрьму посадить. Я ужь просидел три месяца, – сказал он, улыбаясь, как будто это было одно из самых приятных его воспоминаний.

– Ах, это ужасно! – сказал я. – За что же?

– Это так у них по новым законам республики, – продолжал он, одушевляясь. – Они этого не хотят рассудить, что надо, чтобы и бедняк жил как-нибудь. Ежели бы я был не калека, я бы работал. А что я пою, так разве я кому-нибудь вред этим делаю. Чтó же это такое! богатым жить можно, как хотят, a un bauvre tiaple,[11] как я, ужь и жить не может. Чтó жь это за законы республики? Коли так, то мы не хотим республики, не так ли, милостивый государь? мы не хотим республики, а мы хотим… мы хотим просто… мы хотим… – он замялся немного – мы хотим натуральные законы.

Я подлил ему еще в стакан.

– Вы не пьете, – сказал я ему.

Он взял в руку стакан и поклонился мне.

– Я знаю, что вы хотите, – сказал он, прищуривая глаз и грозя мне пальцем: – вы хотите подпоить меня, посмотреть, чтó из меня будет; но нет, это вам не удастся.

– Зачем же мне вас напоить, – сказал я: – я только желал бы вам сделать удовольствие.

Ему, верно, жалко стало, что он обидел меня, дурно объяснив мое намерение, он смутился, привстал и пожал меня

---

[11] [бедный малый,]

за локоть.

– Нет, нет, – сказал он, с умоляющим выражением глядя на меня своими влажными глазами, – я так только шучу.

И вслед за этим он произнес какую-то ужасно запутанную, хитрую фразу, долженствовавшую означать, что я всё-таки добрый малый.

– Je ne vous dis que ça![12] – заключил он.

Таким образом мы продолжали пить и беседовать с певцом, а лакеи продолжали, не стесняясь, любоваться нами и, кажется, подтрунивать. Несмотря на интерес моего разговора, я не мог не замечать их и, признаюсь, сердился всё больше и больше. Один из них привстал, подошел к маленькому человечку и, глядя ему в маковку, стал улыбаться. У меня ужь был готовый запас злобы на обитателей Швейцергофа, который я не успел еще сорвать ни на ком, и теперь, признаюсь, эта лакейская публика так и подмывала меня. Швейцар, не снимая фуражки, вошел в комнату и, облокотившись на стол, сел подле меня. Это последнее обстоятельство, задев мое самолюбие и тщеславие, окончательно взорвало меня и дало исход той давившей злобе, которая весь вечер собиралась во мне. Зачем у подъезда, когда я один, он мне униженно кланяется, а теперь, потому что я сижу с странствующим певцом, он грубо рассаживается рядом со мной? Я совсем озлился той кипящей злобой негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что

---

[12] [Я только это скажу вам!]

она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей.

Я вскочил с места.

– Чему вы смеетесь? – закричал я на лакея, чувствуя, как лицо мое бледнеет и губы невольно подергиваются.

– Я не смеюсь, я так, – отвечал лакей, отступая от меня.

– Нет, вы смеетесь над этим господином. И какое право вы имеете тут быть и сидеть здесь, когда тут гости. Не сметь сидеть! – закричал я.

Швейцар, ворча что-то, встал и отодвинулся к двери.

– Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он гость, а вы лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом и не садились со мной рядом? От того, что он бедно одет и поет на улице? от этого; а на мне хорошее платье. Он беден, но в тысячу раз лучше вас, в этом я уверен. Потому, что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его.

– Да я ничего, что вы, – робко отвечал мой враг лакей. – Разве я мешаю ему сидеть.

Лакей не понимал меня, и моя немецкая речь пропадала даром. Грубый швейцар вступился было за лакея, но я напал на него так стремительно, что швейцар притворился, что тоже не понимает меня, и махнул рукой. Горбатая судомойка, заметив ли мое разгоряченное состояние и боясь скандалу, или разделяя мое мнение, приняла мою сторону и, стараясь

стать между мной и швейцаром, уговаривала его молчать, говоря, что я прав, а меня просила успокоиться. «Der Herr hat Recht; Sie haben Recht»,[13] твердила она. Певец представлял самое жалкое, испуганное лицо и, видимо не понимая, из чего я горячусь и чего я хочу, просил меня уйти поскорее отсюда. Но во мне всё больше и больше разгоралась злобная словоохотливость. Я всё припомнил: и толпу, которая смеялась над ним, и слушателей, ничего не давших ему, и ни за что на свете не хотел успокоиться. Я думаю, что если бы кельнеры и швейцар не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними, или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею.

– И отчего вы провели меня с этим господином в эту, а не в ту залу? А? – допрашивал я швейцара, ухватив его за руку, с тем, чтобы он не ушел от меня. – Какое вы имели право по виду решать, что этот господин должен быть в этой, а не в той зале? Разве, кто платит, не все равны в гостинницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!… Вот оно равенство. Англичан вы бы не смели провести в эту комнату, тех самых англичан, которые даром слушали этого господина, то есть украли у него каждый по нескольку сантимов, которые должны были дать ему. Как вы смели указать эту залу?

---

[13] [Господин прав; вы правы,]

– Та зала заперта, – отвечал швейцар.

– Нет, – закричал я, – неправда, не заперта зала.

– Так вы лучше знаете.

– Знаю, знаю, что вы лжете.

Швейцар повернулся плечом прочь от меня.

– Э! что говорить! – проворчал он.

– Нет, не «что говорить», – закричал я, – а ведите меня сию минуту в залу.

Несмотря на увещанья горбуньи и просьбы певца итти лучше по домам, я потребовал обер-кельнера и пошел в залу, вместе с моим собеседником. Обер-кельнер, услыхав мой озлобленный голос и увидав мое взволнованное лицо, не стал спорить и с презрительной учтивостью сказал, что я могу итти, куда мне угодно. Я не мог доказать швейцару его лжи, потому что он скрылся еще прежде, чем я вошел в залу.

Зала была действительно отперта, освещена, и на одном из столов сидели ужиная англичанин с дамой. Несмотря на то, что нам указывали особый стол, я с грязным певцом подсел к самому англичанину и велел сюда подать нам неконченную бутылку.

Англичане сначала удивленно, потом озлобленно посмотрели на маленького человечка, который ни жив, ни мертв сидел подле меня; они что-то сказали между собой, она оттолкнула тарелку, зашумела шолковым платьем, и оба скрылись. За стеклянными дверьми я видел, как англичанин что-то озлобленно говорил кельнеру, беспрестанно указывая ру-

кой по нашему направлению. Кельнер высунулся в дверь и взглянул в нее. Я с радостью ожидал, что придут выводить нас, и можно будет наконец вылить на них всё свое негодование. Но, к счастью, хотя это тогда мне было неприятно, нас оставили в покое.

Певец, прежде отказывавшийся от вина, теперь торопливо допил всё, что оставалось в бутылке, с тем чтобы только поскорей выбраться отсюда. Однако он с чувством, как мне показалось, отблагодарил меня за угощенье. Плачущие глаза его сделались еще более плачущими и блестящими, и он сказал мне самую странную, запутанную фразу благодарности. Но всё-таки эта фраза, в которой он говорил, что ежели бы все так уважали артистов, как я, то ему было бы хорошо, и что он желает мне всякого счастия, была мне очень приятна. Мы вместе с ним вышли в сени. Тут стояли лакеи и мой враг швейцар, кажется, жаловавшийся им на меня. Все они, кажется, смотрели на меня, как на умалишенного. Я дал маленькому человечку поровняться со всей этой публикой и тут со всей почтительностью, которую только в состоянии выразить в своей особе, я снял шляпу и пожал ему руку с закостенелым отсохшим пальцем. Лакеи сделали, как будто не обращают на меня ни малейшего внимания. Только один из них засмеялся сардоническим смехом.

Когда певец, раскланиваясь, скрылся в темноте, я пошел к себе наверх, желая заспать все эти впечатления и глупую детскую злобу, которая так неожиданно нашла на меня. Но,

чувствуя себя слишком взволнованным для сна, я опять пошел на улицу с тем, чтобы ходить до тех пор, пока успокоюсь и, признаюсь, кроме того, в смутной надежде, что найдется случай сцепиться с швейцаром, лакеем или англичанином и доказать им всю их жестокость и главное несправедливость. Но, кроме швейцара, который, увидав меня, повернулся ко мне спиной, я никого не встретил и один-одинешенек стал взад и вперед ходить по набережной.

«Вот она, странная судьба поэзии, – рассуждал я, успокоившись немного. – Все любят, ищут ее, одну ее желают и ищут в жизни, и никто не признает ее силы, никто не ценит этого лучшего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают его людям. Спросите у кого хотите, у всех этих обитателей Швейцергофа, чтó лучшее благо в мире? и все, или девяносто девять на сто, приняв сардоническое выражение, скажут вам, что лучшее благо мира – деньги. «Может быть, мысль эта вам не нравится и не сходится с вашими возвышенными идеями, – скажет он, – но что жь делать, ежели жизнь человеческая так устроена, что одни деньги составляют счастье человека. Я не мог не позволить моему уму видеть свет, как он есть, – прибавил он, – то есть видеть правду». Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которого ты желаешь, и несчастное ты создание, само не знающее, чего тебе надобно… Зачем вы все покинули свое отечество, родных, занятия и денежные дела и столпились в маленьком швейцарском городке Люцерне? Зачем вы все нынче вечером высы-

пали на балконы и в почтительном молчании слушали песню маленького нищего? И ежели бы он захотел петь еще, еще бы молчали и слушали. Чтó, за деньги, хоть за мильоны, вас можно бы было всех выгнать из отечества и собрать в маленьком уголке Люцерне? За деньги вас можно бы было всех собрать на балконах и в продолжение получаса заставить стоять молчаливо и неподвижно? Нет! А заставляет вас действовать одно, и вечно будет двигать сильнее всех других двигателей жизни, потребность поэзии, которую не сознаете, но чувствуете и век будете чувствовать, пока в вас останется что-нибудь человеческое. Слово «поэзия» вам смешно, вы употребляете его в виде насмешливого упрека, вы допускаете любовь к поэтическому нечто в детях и глупых барышнях, и то вы над ними смеетесь; для вас же нужно положительное. Да дети-то здраво смотрят на жизнь, они любят и знают то, чтò должен любить человек, и то, чтò даст счастие, а вас жизнь до того запутала и развратила, что вы смеетесь над тем, чтò одно любите, и ищете одного того, чтò ненавидите и чтò делает ваше несчастие. Вы так запутались, что не понимаете того обязательства, которое вы имеете перед бедным тирольцем, доставившим вам чистое наслаждение, а вместе с тем считаете себя обязанными даром, без пользы и удовольствия, унижаться перед лордом и зачем-то жертвовать ему своим спокойствием и удобством. Что за вздор, что за неразрешимая бессмыслица! Но не это сильней всего поразило меня нынче вечером. Это неведение того, чтò дает

счастье, эту бессознательность поэтических наслаждений я почти понимаю или привык к ней, встречав ее часто в жизни; грубая, бессознательная жестокость толпы тоже была для меня не новость; что бы ни говорили защитники народного смысла, толпа есть соединение хотя бы и хороших людей, но соприкасающихся только животными гнусными сторонами, и выражающая только слабость и жестокость человеческой природы. Но как вы, дети свободного, человечного народа, вы христиане, вы просто люди, на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный просящий человек, ответили холодностью и насмешкой? Но нет, в вашем отечестве есть приюты для нищих. – Нищих нет, их не должно быть, и не должно быть чувства сострадания, на котором основано нищенство. – Но он трудился, он радовал вас, он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его как редкость из своих высоких блестящих палат, и из сотни вас, счастливых, богатых, не нашлось ни одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь! Пристыженный, он пошел прочь от вас, и бессмысленная толпа, смеясь, преследовала и оскорбляла не вас, а его, за то, что вы холодны, жестоки и бесчестны; за то, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил, за это *его* оскорбляли.

*«Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса*

*пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».*

Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, у постоянных жителей Швейцергофа, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля.

Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. Что англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету, что французы убили еще тысячу кабилов за то, что хлеб хорошо родится в Африке и что постоянная война полезна для формирования войск, что турецкий посланник в Неаполе не может быть жид, и что император Наполеон гуляет пешком в Plombières[14] и печатно уверяет народ, что он царствует только по воле всего народа, – это всё слова, скрывающие или показывающие давно известное; но событие, происшедшее в Люцерне 7-го июля, мне кажется совершенно ново, странно и относится не к вечным дурным сторонам человеческой природы, но к известной эпохе развития общества. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации.

---

[14] [Пломбьер]

Отчего этот бесчеловечный факт, невозможный ни в какой деревне немецкой, французской или итальянской, возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени, где собираются путешествующие, самые цивилизованные люди самых цивилизованных наций? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные в общем на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого сердечного чувства на личное доброе дело? Отчего эти люди, в своих палатах, митингах и обществах горячо заботящиеся о состоянии безбрачных китайцев в Индии, о распространении христианства и образования в Африке, о составлении обществ исправления всего человечества, не находят в душе своей простого первобытного чувства человека к человеку? Неужели нет этого чувства, и место его заняли тщеславие, честолюбие и корысть, руководящие этих людей в их палатах, митингах и обществах? Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной ассоциации? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова равенство?

Равенство перед законом? Да разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? Только одна-тысячная доля ее подлежит закону, остальная часть происходит вне его, в сфере нравов и воззрения общества. А в обществе лакей одет луч-

ше певца и безнаказанно оскорбляет его. Я лучше одет лакея и безнаказанно оскорбляю лакея. Швейцар считает меня выше, а певца ниже себя; когда я соединился с певцом, он счел себя равным с нами и стал груб. Я стал нагл с швейцаром, и швейцар признал себя ниже меня. Лакей стал нагл с певцом, и певец признал себя ниже его. И неужели это свободное, то, что люди называют положительно-свободное государство, то, в котором есть хоть один гражданин, которого сажают в тюрьму за то, что он, никому не вредя, никому не мешая, делает одно, что́ может, для того чтобы не умереть с голода?

Несчастное, жалкое создание человек с своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. Проходят века, и где бы, что̀ бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблага. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и справедлива по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе под-

разделения в этом вечном движущемся, бесконечном, бесконечно-перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет мильонов других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут мильоны. Цивилизация – благо; варварство – зло; свобода – благо; неволя – зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, чтò свобода, что деспотизм, чтò цивилизация, чтò варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие запутанные факты? У кого так велик ум, чтоб хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и свесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не от того, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, чтò должно; тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу.

И этот-то один непогрешимый блаженный голос заглушает шумное, торопливое развитие цивилизации. Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, с злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему мильонной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет, никому не делая вреда, ходит по горам и долам, утешая людей своим пением, которого оскорбили, чуть не вытолкали нынче, и который усталый, голодный, пристыженный, пошел спать куда-нибудь на гниющей соломе?

В это время из города в мертвой тишине ночи я далеко-далеко услышал гитару маленького человечка и его голос.

Нет, сказалось мне невольно, ты не имеешь права жалеть о нем и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вон он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи, в душе его нет ни упрека, ни злобы, ни раскаянья. А кто знает, что̀ делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека? Бесконечна благость и премуд-

рость Того, Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, беззаконно пытающемуся проникнуть Его законы, Его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит с своей светлой неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В своей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты с своим маленьким, пошленьким негодованьицем на лакеев, и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного…

18 июля 1857 г.

# Комментарии В. Ф. Саводника

## ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА. (ЛЮЦЕРН.)

«Люцерн» представляет собой произведение автобиографического характера, так как в основу его лег действительный случай из жизни самого Толстого, происшедший с ним во время его пребывания в этом городе в июле 1857 года. Эпизод, послуживший поводом к рассказу, изложен в Дневнике Толстого, в записи от 7 июля, занесенной под свежим и непосредственным впечатлением пережитого:

«*7 июля*. Проснулся в 9, пошел ходить в пансион и на памятник Льва. Дома открыл тетрадь, но ничего не писалось. О[тъезжее] П[оле] бросил. – Обед тупоумно-скучный. Ходил в Privathaus.[15] Возвращаясь оттуда, ночью – пасмурно – луна прорывается, слышно несколько славных голосов, две колокольни на широкой улице, крошечный человек поет тирольские песни с гитарой и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцерхофа – ничего; он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа смеясь за ним. А прежде толпа и на балконе толпились и молчали. Я догнал его, позвал в Швей-

[15] [частный дом].

церхоф пить. Нас провели в другую залу. Артист пошляк, но трогательный. Мы пили, лакей засмеялся и швейцар сел. Это меня взорвало – я их обругал и взволновался ужасно. – Ночь чудо. Чего хочется, страстно желается? не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души, когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие? Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть. – Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?»

В тот же день, 7 июля, Толстой внес в свою Записную книжку запись, относящуюся к тому же эпизоду и показывающую, в каком направлении работала его мысль; запись эта относится к путешественникам-англичанам, поведение которых в Швейцергофе так возмутило его: «Протестантское чувство – гордость, католическое и наше – memento во всей жизни. Бросить бедному Тирольцу они не хотели, а спасти душу с трудом – это их дело, – гордость».

Лирическое возбуждение, овладевшее Толстым, искало себе выхода, чувства и мысли, накопившиеся в его душе под влиянием впечатлений, пережитых им за время его заграничных скитаний, требовали себе выражения и оформления, – и вот случайная встреча с бродячим певцом на набережной перед Швейцергофом дает ему необходимый внешний толчок для творчества и вместе с тем становится сама тем ядром, вокруг которого кристаллизуются все эти душевные переживания молодого автора. Творческий процесс на этот раз протекал у Толстого необыкновенно стремительно.

Уже 9 июля, т. е. через день после пережитого эпизода, Толстой записывает в своем Дневнике: «Писал Люцерн». Интересно отметить, что первоначально этот рассказ был задуман в форме письма, причем воображаемым адресатом его в глазах Толстого был Вас. Петр. Боткин, с которым Толстой в эту эпоху жизни был особенно близок и литературному вкусу которого он наиболее доверял. В тот же день, когда был начат «Люцерн», т. е. 9 июля, Толстой писал Боткину: «Я занят ужасно, работа – бесплодная или нет, не знаю – кипит; но не могу удержаться, чтобы не сообщить вам хоть части того, что бы хотелось переговорить с вами. Во-первых, я говорил уже вам, что многое за границей так ново и странно поразило меня, что я набрасывал кое-что с тем, чтобы быть в состоянии возобновить это на свободе. Ежели вы мне посоветуете это сделать, то позвольте писать это в письмах к вам. Вы знаете мое убеждение в необходимости воображаемого читателя. Вы мой любимый воображаемый читатель. Писать вам мне так же легко, как думать; я знаю, что всякая моя мысль, всякое мое впечатление воспринимается вами чище, яснее и выше, чем оно выражено мною. – Я знаю, что условия писателя другие, да Бог с ними – я не писатель. Мне только одного хочется, когда я пишу, чтоб другой человек, и близкий мне по сердцу человек, порадовался бы тому, чему я радуюсь, позлился бы тому, что меня злит, или поплакал бы теми же слезами, которыми я плачу. Я не знаю потребности сказать что-нибудь всему миру, но знаю боль одиноко-

го наслаждения плача [?] страдания. Как образчик будущих писем посылаю вам это от 7 из Люцерна.

Письмо не это, а другое, которое еще не готово нынче».

Работа над «Люцерном» продолжалась в течение следующих двух дней. 10 июля Толстой записывает в своем Дневнике: «Здоров, в 8 выкупался, писал Люцерна порядочно до обеда»; 11 июля: «Встал в 7, выкупался. Дописал до обеда Люцерн. Хорошо. Надо быть смелым, а то ничего не скажешь кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного».

Таким образом весь рассказ был написан в три дня, причем по окончании своей работы автор остался ею доволен, что далеко не всегда случалось с Толстым. Затем происходит перерыв в несколько дней, которые Толстой провел в поездках по окрестностям Люцерна; но, по возвращении в этот город 15 июля, он снова обращается к своему рассказу, занявшись его переработкой и отделкой: «Писал утро. Трудная работа писать. Не ленился, а в целый день переделал 5 листочков, которые еще надо переделать». 16 июля он снова записывает: «…После обеда написал сколько мог, несмотря на жару». На следующий день: «Дождь. Славно спал. Выкупался и писал целый день. Написал $^3/_4$ Люцерна. Diffus».[16] Наконец на следующий день, 18 июля переработка рассказа была закончена, и обрадованный автор поспешил поделить-

[16] [Многословно.]

ся новым произведением своего пера с проживавшими в это время в Люцерне двоюродными тетками, гр. А. А. и Е. А. Толстыми. В записи Дневника за этот день говорится: «Едва почти успел дописать с 7 до $^1/_2$11. Побежал к ним…[17] Вечером славная иллюминация и музыка на озере. Прочел им Люцерн». Об этом чтении некоторые сведения сообщает в своих воспоминаниях о Толстом А. А. Толстая: «После нескольких дней странствования по горам и по долам, мы, наконец, очутились в Люцерне, и тут нежданно-негаданно опять явился Лев, как будто вырос из земли. Он прибыл в Люцерн двумя днями ранее нас и уже успел пройти через целую драму, рассказ о которой появился после в печати, под заглавием: «Записки князя Нехлюдова». Лев был страшно возбужден и пылал негодованием. – Вот что мы узнали от него и что случилось накануне. Какой-то бродячий музыкант играл очень долго под балконом Швейцергофа, на котором расположилось весьма порядочное общество. Все слушали артиста с удовольствием; но когда он поднял шляпу для получения награды, – никто не бросил ему ни единого су; факт, конечно, некрасивый, но которому Лев Николаевич придал чуть ли не преступные размеры. Чтобы отомстить расфранченной публике, он на ее глазах схватил музыканта под руку, посадил его с собою за стол и приказал подать ужин с шампанским. Едва ли публика, да и сам бедный музыкант,

---

[17] Т. е. к вышеназванным родственницам.

поняли всю иронию этого действия. В этой черте проявился зараз писатель и человек. – Впечатления его были до того сильны, что они невольно прививались и другим. Даже дети[18] живо заинтересовались этим приключением». (Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. Спб., 1911, стр. 11.)

21 июля Толстой снова писал Боткину, сообщая об окончании своей работы над «Люцерном». – «Главное содержание моего письма, которое вы не разобрали, было следующее. Меня в Люцерне сильно поразило одно обстоятельство, которое я почувствовал потребность выразить на бумаге. А так как в мое путешествие у меня много было таких обстоятельств, слегка записанных мною, то мне и пришла мысль восстановить их все в форме писем к вам, на что я и просил вашего согласия и совета. Люцернское же впечатление я тотчас же стал писать. Из него вышла чуть не статья, которую я кончил, которой почти доволен и желал бы прочесть вам, но видно не судьба. Покажу Тург[еневу] и ежели он апробует,[19] то пошлю Панаеву». (Толстой. «Памятники творчества и жизни». Вып. 4. М., 1923, стр. 37.)

Однако, повидимому, Толстой не исполнил своего намерения и не познакомил со своим новым рассказом, до его напечатания, ни Боткина, ни Тургенева: по крайней мере в их переписке не сохранилось об этом никаких следов. Зато,

---

[18] Вел. кн. Марии Николаевны, герцогини Лейхтенбергской, при которых гр. Толстые состояли воспитательницами.

[19] [одобрит] – срав. франц. approbation – одобрение.

возвратившись из своего заграничного путешествия в Петербург 11 августа (30 июля ст. ст.) он поспешил познакомить с ним редакцию «Современника». 1 августа (ст. ст.) он записал в своем Дневнике: «Прочел им Люцерн. Подействовало на них». Кто именно из членов редакции «Современника» присутствовал на этом чтении, помимо Некрасова, мы не знаем, но во всяком случае, после прочтения рассказа, Некрасов поспешил сдать его для набора в типографию и уже в следующей, сентябрьской книжке «Современника» (цензурное разрешение 31 августа 1857 г.) «Люцерн» был напечатан, за подписью: Граф Л. Н. Толстой.

В позднейших изданиях текст рассказа перепечатывался без каких-либо изменений, не считая некоторых незначительных отступлений в орфографии и пунктуации. В настоящем издании «Люцерн» печатается по тексту «Современника» (1857 г., № 9, стр. 5—28); однако мы сочли необходимым внести в него следующие отступления, заимствованные из авторитетных изданий 1873 и 1886 гг., а также некоторые, очень немногие, конъектуры, в тех случаях, когда это вызывалось требованиями логической или грамматической связи:

*Стр. 3, строка 13 сн.*

*Вместо:* очень хороши – *в «Совр.»:* очень хорошо. *Печатается по изданию 1873 г.*

*Стр. 12, строка 6 сн.*

*Вместо: толкнул – в «Совр.» и во всех изданиях:* толкнув.

*Печатается в силу соображений грамматической правильности.*

*Стр. 20, строка 13 св.*

*Вместо:* на одном из столов *(взято по «Совр.», так как такой оборот встречается у Толстого) – в изд. 73 г.:* за одним из столов.

*Стр. 23, строка 10 сн.*

*Вместо:* ни в какой *– в «Совр.» и изд. 1873 г.:* ни в широкой.

*Печатается по изд. 1886 г.*

*Стр. 24, строка 3 св.*

*Вместо:* образования *– в «Совр.» (описка или опечатка):* образовании.

Рукопись окончательной редакции «Люцерна» до нас не дошла, не сохранились также и корректурные листы журнального текста, которые выправлял сам автор, судя по записи Дневника от 22 августа: «Получил корректуры, переправлял кое-как. Ужасно взбалмошно. Послал». За то сохранилась почти полностью черновая «Люцерна», представляющая собой ту первоначальную редакцию рассказа, которую Толстой набросал под свежим впечатлением пережитого эпизода в течение трех дней, 9—11 июля, в Люцерне. Рукопись эта написана на отдельных листках почтовой бумаги, в три приема, судя по различному качеству бумаги и по некоторым отличиям в почерке; начало рассказа (кончая словами: «никто не бросил ему копейки») написано на очень тон-

кой желтоватой бумаге-верже, мелким почерком и рыжеватыми чернилами; продолжение (кончая словами: «… о состоянии крымских…») на более плотной и белой бумаге, с клеймом «Bath», почерком более крупным и черными чернилами; последняя же часть рассказа, от которой впрочем сохранился только один полулист, написана на голубой бумаге, также с клеймом «Bath», вторая же половина листа, содержавшая самое окончание рассказа, повидимому, утрачена. Всего в рукописи $6^1/_2$ листков или 26 страниц, из которых 2 страницы чистые. Нумерация имеется только на двух первых листках, остальные ненумерованы. Сохраняется рукопись в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина. Папка III. 5.

Как уже было указано выше, рассказ «Люцерн» был задуман первоначально в форме письма, воображаемым адресатом которого должен был быть В. П. Боткин. Поэтому начало рассказа читается в черновой следующим образом:

«Давно уже я собирался писать вамъ из-за границы. Многое такъ сильно, ново и странно поражало меня, что мнѣ казалось мои замѣтки (ежели бы я съумѣлъ искренно передать свои впечатлѣнія) могли бы быть не лишены интереса для читателей вашего журнала. Кое-что я набросалъ съ тѣмъ, чтобы со временемъ, на свободѣ и посовѣтовавшись съ друзьями, возстановить, ежели будетъ того стоить; но впечатлѣніе вчерашняго вечера въ Люцернѣ такъ сильно засѣло мнѣ въ воображенье, что только выразивъ его словами, я от-

дѣлаюсь отъ него, и что, надѣюсь, оно на читателей подѣйствуетъ хоть въ сотую долю такъ, какъ на меня подѣйствовало».

За этим кратким вступлением следует вписанное между строк заглавие: «Изъ путевыхъ записокъ Князя Нехлюдова», а затем начинается самый текст рассказа:

«Люцернъ небольшой Швейцарский городокъ на берегу озера 4-хъ кантоновъ. Недалеко отъ него находится гора Риги, съ которой очень много видно бѣлыхъ горъ, гостинницы здѣсь прекрасные, кромѣ того тутъ скрещиваются три или четыре дороги, и потому здѣсь путешественниковъ бездна. Изъ путешественниковъ, какъ вообще въ Швейцаріи, на 100 – Англичан 99».

Это краткое описание Люцерна почти совпадает с печатным текстом; в нем только нет ссылки на «Путеводитель» Мёррэя (Murray), которая внесена Толстым в окончательную редакцию. Самое построение рассказа, расположение частей, их связь и последовательность в обеих редакциях остались те же; различия касаются только отдельных частностей, из которых некоторые опущены автором при окончательной обработке рассказа, а другие, наоборот, внесены им вновь. Так, например, желая подчеркнуть диссонанс между искусственной прямой «как палка» набережной, с ее симметрическими липками и скамейками, и окружающей гармонически-цельной и свободно-разнообразной природой, Толстой замечает в первоначальном наброске расска-

за: «как будто рафаелевской мадонѣ заклеили бы подбородокъ золотой каемкой»; в окончательной редакции это сравнение опущено. Значительно расширено в окончательной редакции описание чопорного английского общества за табль-д'отом, а также приведенная для сравнения характеристика веселой и живой компании парижского пансиона, которой в первоначальной редакции рассказа посвящена всего одна фраза:

«То ли было дѣло нашъ пансіонъ въ Парижѣ, гдѣ мы спорили съ одного конца стола на другой, рѣзвились и послѣ обѣда тотчасъ принимались всѣ, и аббатъ, и испанская графиня, и всѣ танцовать la polka или играть въ фанты».

Встреча с бродячим музыкантом, характеристика его пения, сцена перед Швейцергофом, разговор с ним на улице, а затем в ресторане, столкновение с ресторанной прислугой, – все это изложено в первоначальной редакции почти в том же виде, как и в окончательной. Изменения касаются большей частью стиля и направлены в сторону развертывания того, что в черновой только намечено двумя-тремя штрихами. Но встречаются и некоторые изменения, затрагивающие самое содержание рассказа; в некоторых случаях опущены те или другие подробности, которые почему-либо показались автору излишними, но которые, однако, могут представлять для нас известный интерес. Приводим некоторые из этих вариантов первоначальной редакции:

В журнальном тексте автор оттеняет во французских

фразах бродячего музыканта особенности его произношения, указывающие на его происхождение из немецкой части Швейцарии (из кантона Ааргау, по французски – Argovie): «bauvre tiaple», «quelque chosse»;[20] в черновой рукописи этого оттенка произношения не отмечено и французские слова даются в обычной транскрипции.

Зал, в который первоначально ввели рассказчика вместе с бродячим певцом, в окончательной редакции назван «распивочной для простого народа»; в черновой же рукописи сказано: «это была, как я видел, людская»; последнее определение представляется более точным, в виду неоднократного упоминания о «горбатой судомойке», занятой мытьем посуды; характерно также, что в рассказе нет никаких указаний на присутствие в зале посторонних посетителей.

В черновой рукописи на вопрос лакея: «Простого вина прикажете?» – рассказчик отвечает: «Шампанского Моёте»; первоначально было написано: «Шампанского и самого лучшего», затем Толстой зачеркнул последние слова и вписал сверху, между строк, наименование марки вина; в окончательной же редакции эта деталь была снова опущена, и вся фраза восстановлена в первоначальном виде.

В рассказе бродячего музыканта относительно причины, побудившей его заняться своим ремеслом, в черновой рукописи говорится: «28 лет тому назад у него сделался панори в пальце»; в печатном тексте: «Двадцать два года тому на-

---

[20] [бедняга, что-нибудь]

зад у него сделался костоед в руке, лишивший его возможности работать». Интересно отметить, что панори (panoris) значит по-французски ногтоеда, а не костоеда (la carie). Так как разговор велся по-французски, то, очевидно, музыкант употребил в нем приведенное в черновой рукописи французское выражение, которое автор счел нужным при окончательной обработке своего рассказа перевести на русский язык, но употребил для этого не соответствующее выражение.

На вопрос рассказчика относительно автора «песни Риги» в печатном тексте говорится: «Был один немец в Базеле, умнейший был человек, это он сочинил ее»; в черновой же рукописи названа и фамилия этого лица – Фрейганг. Трудно сказать, почему Толстой счел нужным опустить эту фамилию в окончательной редакции. Может быть, он сам сомневался, правильно ли он ее расслышал и хорошо ли запомнил.[21]

Заключительная часть рассказа, посвященная размышлениям и лирическим излияниям автора по поводу поразившего его случая в Швейцергофе, подверглась в окончательной редакции значительной переработке, в виду этого приводим ее по первоначальному тексту черновой рукописи:

«Да вотъ она, цивилизація. Не смѣшной вздоръ говорилъ Руссо въ своей рѣчи о вредѣ цивилизаціи на нравы. Вся-

---

[21] [Отто Фон-Грейерц. Народные песни на диалектах немецкой Швейцарии. Лейпциг.] См. ниже, стр. 285—286.

кая мысль человѣка и ложна и справедлива – ложна односторонностью по невозможности человѣка обнять всей истины, и справедлива по выраженію одной стороны человѣческихъ стремленій. Возможенъ ли таковой фактъ въ деревнѣ Русской, Французской, Итальянской? Нѣтъ. А вѣдь всѣ эти люди христіане и гуманные люди. Провести въ общемъ гуманную идею разумомъ, – позаботиться о безбрачіи китайцевъ въ Индіи, о состоянии Крымскихъ татаръ въ Турціи, распространять христіанство, составлять общество исправленія, – это ихъ дѣло. Но при этихъ поступкахъ, что̀ руководитъ члена палаты или духовное лицо, подающее большой проэктъ, – тщеславіе, корысть, честолюбіе, – кажется, спорить нечего. А гдѣ же первобытное, primesautier, чувство человѣка? – Его нѣтъ и оно исчезаетъ по мѣрѣ распространенія цивилизаціи, т. е. корыстной, разумной, себялюбивой ассоціаціи людей, которую называютъ цивилизаціей, и которая діаметрально противоположна ассоціаціи инстинктивной, любовной.

Вотъ оно и равенство республиканское. Тиролецъ ниже лакея, лакей показываетъ ему это безобидно, но смѣясь надъ нимъ. Потому что у Тирольца 60 сантимовъ и его оскорбляютъ. У меня 1000 франковъ, я выше лакея и безобидно оскорбляю его. Когда я соединился съ Тирольцемъ вмѣстѣ, мы стали на уровнѣ лакея и онъ сѣлъ съ нами и спорилъ. Я сталъ наглъ и сталъ выше. Лакей былъ наглъ съ Тирольцемъ, Тиролецъ сталъ ниже.

Вотъ она и свобода. Человѣкъ изуродованъ, слабъ, старъ,

находитъ лучшее по своимъ способностямъ средство зарабатывать хлѣбъ пѣньемъ. Тѣ, которымъ онъ продаетъ свое искусство охотно [?] покупаютъ его, онъ никому не навязывается, не вредитъ своимъ товарищамъ, не обманываетъ. Ничего нѣтъ безнравственнаго въ его пѣніи. Его сажаютъ въ тюрьму за его промыселъ. Злостный банкрутъ, игрокъ на биржѣ, кричатъ въ совѣтѣ о бродяжничествѣ.

Ежели бы только люди выучились не думать и не говорить положительно, сознавая свое безсиліе понять законы своей души и потому законы общіе, человѣческіе. Ежели бы только не говорили общія рѣшенія. Тамъ, гдѣ республика, тамъ свобода и равенство. Бродяжничество зло, свобода благо, деспотизмъ зло, цивилизація благо, варварство зло. У кого въ душѣ такъ испоконъ была эта мѣра добра и зла, чтобы онъ могъ раздѣлить одно отъ другаго. У кого такъ великъ умъ, чтобы обнять всѣ факты и свѣсить ихъ? И гдѣ такое состояніе, чтобы не было добра и зла? И почему я знаю, что я вижу больше зла или больше добра не отъ того, что я стою не на настоящемъ мѣстѣ? Кто въ состояніи оторваться отъ жизни и взглянуть на нее сверху? И кто опредѣлитъ мнѣ, что̀ цивилизація, что̀ свобода, гдѣ граница свободы и деспотизма, гдѣ граница цивилизаціи и варварства? Одно есть – всемірный духъ, проникающій каждаго изъ насъ, какъ отдѣльную единицу, влагающій каждому безсознательное стремленіе къ добру и отвращеніе къ злу, тотъ самый духъ, который въ деревѣ велитъ ему расти къ солнцу и растенію сбросить листъ

къ осѣни, вотъ только слушай этотъ голосъ чувства, совѣсти, инстинкта, ума, назовите его какъ хотите, только этотъ голосъ не ошибается. И этотъ голосъ говоритъ мнѣ, что Тиролецъ правъ, а что вы виноваты, и доказывать этаго нельзя и не нужно. Тотъ не человѣкъ, кому это нужно доказывать. Этотъ голосъ слышится яснѣе въ положенiи того, что вы называете варварствомъ, чѣмъ въ положенiи того, что вы называете цивилизацiей».

На этом прерывается черновая редакция «Люцерна»; остальная часть рукописи, содержавшая самое окончание рассказа, повидимому, утрачена.

Считаем необходимым присоединить несколько примечаний, для пояснения некоторых отдельных мест рассказа.

*Стр. 6, строка 15 св.*

В воспоминаниях автора о парижском пансионе, несомненно, имеется в виду тот пансион, в котором жил Толстой во время своего пребывания в Париже в феврале – апреле 1857 года, так как некоторые из перечисленных здесь лиц упоминаются и в его дневнике того времени (испанская графиня, музыкантша); впрочем, он нигде не называет их имен и не сообщает о них никаких других сведений.

*Стр. 8, строка 2 св.*

«Два строгие шпица башен» – подробность реального характера: на площади вблизи Швейцергофа стоит главная церковь Люцерна (Hof– und Stiftskirche), старинный собор св. Леонгарда, по сторонам главного портала которого воз-

вышаются две колокольни с высокими шпицами готического типа. В черновой рукописи Толстой оставил в данном месте пробел, для того чтобы внести в него название церкви, но при окончательной обработке он, очевидно, счел излишним вносить эту подробность в свой рассказ.

*Стр. 8, строка 12 сн.*

Хотя безыменный странствующий певец, с которым встретился автор перед Швейцергофом в Люцерне, был родом швейцарец, уроженец кантона Ааргау (франц. Argovie), однако Толстой постоянно называет его «тирольцем», вероятно, потому что он пел главным образом старинные тирольские народные песни; песни эти отличаются своей мелодичностью и разнообразием и потому охотно усваиваются профессиональными певцами, подобно выведенному в рассказе Толстого.

*Стр. 10, строка 6 сн.*

«Песенка Риги» – (L'air du Righi) повидимому, пользовалась большой популярностью среди населения ближайших кантонов Швейцарии и была распространена в различных вариантах. Один из них приводит Эрих Бёме в своей заметке «Leo Tolstoi und das Rigi-Lied». («Neue Züricher Zeitung», 6 Februar 1934.)

Wo Lüzern uf Wäggis Zue
Brucht me weder Strümpf noch Schuhe.
Fahr' im Schiffli übern See,
Um die schönen Maidli z'seh.

Hansli, trink mer nit zu viel,
s'Galdi muess verdienet si.

(Русский текст приведен Толстым, см. стр. 15—16.)

Другие варианты этой песенки приводит А. Л. Гасманн в своих работах: «Das Volkslied im Lüzerner Wiggertal und Hinterland» (1906) и «Das Rigilied «Vo Lüzern uf Wäggis zue». Seine Entstehung und Verbreitung» (1908). В последнем труде он установил и имя автора «песенки Риги»; это – некий Иоганн Люти (Lüthi), музыкант из Золотурна (1800—1869). Гасманн сообщает о нем некоторые биографические сведения и дает более 30 вариантов его песенки (текстуальных и музыкальных). Кроме того, Гасманн сообщает в своей работе, что в 1850—1871 гг. в окрестностях Люцерна ежегодно появлялся со скрипкой и гитарой какой-то старый странствующий музыкант из Аргау, выступал в трактирах со своим искусством и между прочим пел и «песенку Риги». Сведения о внешности и характере этого лица, сохранившиеся у некоторых стариков, видавших и слышавших его, настолько совпадают с описанием «маленького человечка» в рассказе Толстого, что Гасманн признает вполне правдоподобным, что именно с него Толстой и писал своего героя.

Наконец, один из вариантов «песенки Риги» был прислан в Редакцию «Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого» С. Карцевским, с указанием, что он слышал эту песенку в Женеве от одного странствующего певца, Иосифа Виггера,

который и записал полностью ее текст.

*Стр. 23, строка 18 св.*

В 1856 году, английское правительство, без формального объявления войны, послало к берегам Китая флот, который обстрелял и разрушил целый ряд прибрежных городов; вскоре к англичанам присоединились и французы, придравшиеся к тому обстоятельству, что, вопреки договору, китайские власти казнили одного французского миссионера. Таким образом началась война двух сильнейших европейских держав против беззащитного Китая, окончившаяся только в 1860 году взятием и разграблением Пекина союзными войсками и заключением унизительного для Китая мирного договора. Эти произвольные и насильственные действия европейцев в Китае глубоко возмущали Толстого, как это видно, например, из его записи в Дневнике от 30 апреля 1857 г.: «Читал отвратительные дела Англичан с Китаем и спорил о том с стариком Англичанином»; это же нравственное возмущение сказалось и в горькой иронии «Люцерна».

*Стр. 23, строка 20 св.*

В 1857 году произошло окончательное покорение так назыв. Великой Кабилии, гористой области, лежащей в северо-западной части Алжира и населенной многочисленным и воинственным племенем кабилов, оказывавших в течение многих лет героическое сопротивление французам, пока наконец маршалу Рандону, командовавшему французской армией, не удалось путем энергичных и жестоких мер прину-

дить их к покорности, и таким образом закончить завоевание Алжира.

–

# ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ.

В настоящий том входят произведения 1856—1859 годов.

Кроме известных произведений: «Из записок князя Д. Нехлюдова» («Люцерн»), «Альберт», «Три смерти» и «Семейное счастие», печатаемых по журнальным текстам, как единственным авторизованным, в этот том включены варианты к трем последним вещам, извлеченные из черновых рукописей Толстого, а также четыре произведения, опубликованные уже после его смерти: «Сказка о том, как другая девочка Варинька скоро выросла большая», «Как умирают Русские солдаты» («Тревога»), «Лето в деревне» и «Речь в Обществе Любителей Российской словесности».

Впервые печатаются в настоящем томе неоконченные и неотделанные произведения и наброски художественного содержания: «Начало фантастического рассказа», «Отъезжее поле», «Записки мужа», «Отрывок без заглавия», «Светлое Христово воскресенье»; писания, относящиеся к проекту освобождения яснополянских крестьян, в количестве семи номеров; один набросок публицистического содержания: «Записка о дворянстве»; заметка юридического содержания: «О русском военно-уголовном законодательстве» и, наконец, «Отрывок дневника 1857 года» (Путевые записки

по Швейцарии) и «Проект по лесному хозяйству».

Произведения, появившиеся в печати при жизни Толстого, размещены в порядке их опубликования, остальные – в порядке их написания, поскольку они могут быть хронологически приурочены к определенному моменту.

*Н. М. Мендельсон.*

*В. Ф. Саводник.*

# РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПЯТОМУ ТОМУ.

Тексты произведений, *печатавшихся при жизни* Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Толстого и лиц его круга (брычка, пожалуста).

При воспроизведении текстов, *не печатавшихся при жизни* Л. Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые, а также и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся и это оговаривается в сноске.

На месте слов, неудобных в печати, ставится в двойных

прямых скобках цифра, обозначающая число пропущенных редактором слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как напр., крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «к-ый», вместо который, и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый, «т[акъ] к[акъ]» и т. п. лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 *неразобр.*] или: [2 *неразобр.*], где цыфры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске)

лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-накрест и т. п., воспроизводятся *не* в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом. Дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в

диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: *Абзац редактора*.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [ ] скобках.

Обозначения: *, **, ***, ****, в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Л. Толстого, *** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** – что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

# Иллюстрации

Фототипия с фотографического портрета Толстого, снятого в Брюсселе в 1861 г. (размер подлинника) между X и 1 стр.